

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Рассказы»](#)

Приятного чтения!

## Оноре де Бальзак Обедня безбожника

*Огюсту Борже посвящает его друг  
де Бальзак*

Доктор Бьяншон, обогативший науку ценной физиологической теорией и еще в молодости ставший знаменитостью Парижского медицинского факультета — центра просвещения, почитаемого европейскими медиками, — до того как сделаться терапевтом, долгое время был хирургом. В свои студенческие годы он работал под руководством прославленного Деплена, одного из величайших французских хирургов, блеснувшего в науке, как метеор. Даже врачи Деплена признавали, что он унес с собой в могилу свой метод, который невозможно было передать кому-либо другому. Как у всех гениальных людей, у него не оказалось наследников: он все принес и все унес с собой. Слава хирургов напоминает славу актеров: они существуют, лишь пока живут, а после смерти талант их трудно оценить. Актеры и хирурги, а также, впрочем, великие певцы и музыканты-виртуозы, уделяющие своим исполнением силу музыки, все они герои одного мгновения. Судьба Деплена служит доказательством того, как много общего в участии этих мимолетных гениев. Его имя, еще вчера столь знаменитое, нынче почти забытое, не выйдет за пределы медицинского мира. Но, впрочем, разве не требуются чрезвычайные обстоятельства, чтобы имя ученого перешло из области науки в общую историю человечества? Обладал ли Деплен той универсальностью знаний, которая делает человека *выразителем* или *фигурой* своего века? У Деплена было изумительное чутье: он постигал больного и его болезнь путем не то природной, не то приобретенной интуиции, позволявшей ему установить индивидуальные особенности данного случая и точно определить тот час и минуту, когда следовало производить операцию, учтя при этом атмосферические условия и особенности темперамента больного. Чтобы иметь возможность идти таким образом в ногу с природой, не изучил ли Деплен непрестанное усвоение тех элементов, которые человек извлекает из воздуха и земли и перерабатывает на свой особый лад? Пользовался ли он той мощной силой дедукции и аналогии, которой был обязан своим гением Кювье? Как бы там ни было, этот человек стал поверенным всех тайн плоти, он читал в ее прошлом и в ее будущем, опираясь на настоящее. Но воплотил ли он в своем лице всю науку, как Гиппократ, Гален, Аристотель? Создал ли он школу, открыл ли ей пути к новым мирам? Нет. Правда, нужно признать, что этот неусыпный наблюдатель химии человеческого организма проник в древнюю науку магов: он схватывал жизненные начала еще в их становлении, видел истоки жизни, видел ту жизнь, которая не стала еще жизнью и которая подготовительной своей работой обуславливает существование организма. Но, к сожалению, все в Деплене носило личный характер: эгоизм был при жизни причиной его одиночества, и этот же эгоизм убил его посмертную славу. Над его могилой не высится статуя, которая громко вещает грядущим поколениям тайны, раскрытие самоотверженнымиисканиями гения. Но, быть может, талант Деплена соответствовал его убеждениям, а потому и был смертен. Для Деплена земная атмосфера была полостью, зарождающей в себе жизнь, земля была подобна яйцу в скорлупе, и вот он, не будучи в состоянии ответить на вопрос, что было вначале: яйцо или курица, отрицал и

петуха и яйцо. Он не верил ни в сотворение первобытного животного мира, ни в бессмертие человеческой души. Деплен не сомневался, он отрицал. То был откровенный, чистейший воды атеизм, который присущ многим ученым: это прекраснейшие люди, но они до мозга костей атеисты — атеисты, исповедующие атеизм с такой же убежденностью, с какой религиозно настроенные люди его отвергают. У Деплена и не могло сложиться иных убеждений: ведь он с молодых лет привык рассекать скальпелем человека — венец всего живого — до его рождения, при жизни и после смерти, привык копаться во всех его органах и нигде не находил эту единственную душу, столь необходимую для всех религиозных учений. Обнаружив в организме три центра — мозговой, нервный и дыхательно-кровеносный, — из которых первые два способны так замечательно заменять друг друга, Деплен в конце своей жизни даже пришел к убеждению, что слух и зрение не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы слышать и видеть: их явно может заменить солнечное сплетение. Найдя таким образом в человеке две души, Деплен увидел в этом подтверждение своих атеистических взглядов, хотя вопрос о боге этим фактом отнюдь не задевался. Говорят, что знаменитый хирург умер, не раскаявшись в своих заблуждениях, как, к сожалению, умирают многие гениальные люди, да помилует бог их души.

Этот крупный человек был во многом мелочен — так говорили о Деплене враги, желавшие омрачить его славу. Но в том, что они считали его мелочностью, правильнее видеть противоречия чисто внешнего порядка. Завистники и тупицы никогда не могут понять тех побуждений, по которым действуют выдающиеся умы; поэтому, как только они подметят несколько таких поверхностных противоречий, они тотчас хватаются за них, составляют на их основании обвинительный акт и добиваются немедленного осуждения обвиняемого. Пусть в дальнейшем успешное достижение цели оправдывает тактику, подвергшуюся стольким нападкам, и обнаруживает соответствие между средствами и целью, но авангардные стычки с клеветой не проходят бесследно. Так в наши дни осуждали Наполеона за то, что он простирая крылья своего орла над Англией: только 1822 год уяснил нам 1804 год и булонские десантные суда.

Слава и познания Деплена были неуязвимы; поэтому его враги избрали своей мишенью всякие странности его нрава, его характер. Между тем Деплену просто была присуща та черта, которую англичане зовут эксцентричностью. То он одевался с великолепием трагика Кребильона, то обнаруживал странное равнодушие к вопросам костюма, то ездил в коляске, то ходил пешком. То резкий, то добрый, казавшийся жадным и скupым и, однако же, способный предоставить свое состояние в распоряжение своих изгнанных повелителей, которые удостоили его чести принять на несколько дней его поддержку, — он больше чем кто бы то ни было вызывал самые противоречивые суждения. Правда, чтобы добиться некоей черной орденской ленточки, гоняться за которой ему бы, как врачу, не пристало, он оказался способен выронить при дворе молитвенник из кармана, — но будьте уверены, что втайне он над всем в жизни насмехался. Деплен имел возможность наблюдать людей и с показной стороны и без прикрас, он видел их такими, какими они являются в действительности, в самых торжественных и в самых обыденных жизненных обстоятельствах, — и он глубоко презирал людей. У великого человека качества его души нередко находятся в соответствии друг с другом. Если у кого-нибудь из этих колоссов больше таланта, чем ума, он все-таки умнее того, о ком говорят просто: «Это умный человек». Гениальность предполагает внутреннее зрение. Зрение это может быть ограничено кругозором отдельной специальности; но кто видит цветок — видит и солнце. Однажды, услышав из уст спасенного им дипломата вопрос: «Как здоровье императора?», Деплен заметил: «Царедворец ожил, — оживет и человек». Тот, кто способен бросить такое замечание, не только хирург, не только врач, — но еще и большая умница. Вот поэтому наблюдатель, привыкший терпеливо и прилежно всматриваться во все человеческое, извинит его самомнение и поверит, как верил в это он сам, что из великого хирурга мог бы выйти не менее великий министр.

Из целого ряда загадок, усматриваемых современниками в жизни Деплена, мы выбрали

одну из самых интересных: в конце нашего рассказа будет дана ее разгадка, и эта разгадка очистит память Деплена от некоторых нелепых обвинений.

Орас Бьяншон был одним из любимых учеников Деплена. Прежде чем поступить ассистентом-практикантом в клинику Отель-Дье, Орас Бьяншон, будучи студентом-медиком, проживал в Латинском квартале, в нищенском пансионе, известном под названием «Дом Воке». Бедный молодой человек испытывал там муки жестокой нужды, но, как из горнила, мощные таланты должны выходить из нее чистыми и неуязвимыми, подобно алмазам, которые могут выдержать любой удар, не разбившись. Закаляясь на огне своих яростно пылающих страстей, они проникаются неподкупной честностью и, замкнув свои обманутые вожделения в пределы непрестанного труда, заранее приучаются к той борьбе, которая составляет удел гениев. Орас был человек прямой, не способный ни на какие компромиссы в вопросах чести, — человек не фразы, а действия, готовый заложить для друга свой единственный плащ, пожертвовать для него своим временем и сном. Словом, это был один из тех друзей, которые не задумываются над тем, много ли они получат в обмен за то, что дают сами, так как бывают уверены, что и сами они, в свою очередь, получат больше, чем дадут. Большинство друзей Ораса испытывало к нему то глубокое внутреннее уважение, которое внушает к себе добродетель, чуждая всякой позы; некоторые же из них боялись его осуждения. Но Орас проявлял свои достоинства без малейшей педантичности. В нем не было никакой склонности к пуританизму или к проповедничеству: давая совет, он охотно пересыпал его крепкими словечками и при случае любил выпить и закусить на славу.

Веселый собутыльник, столь же мало чопорный, как и любой кирасир, прямой и откровенный, не как моряк — ибо теперешние моряки — хитрые дипломаты, — а как славный молодой человек, которому нечего скрывать в своей жизни, он шел вперед с высоко поднятой головой и смеющимися глазами. Чтобы выразить все одним словом, скажем, что он был Пиладом многих Орестов: ведь в наши дни наиболее реальным воплощением античных фурий являются кредиторы. Орас переносил свою бедность с той легкостью духа, которая является, быть может, одним из основных элементов мужества; и как все те, у кого нет ничего, почти никогда не брал у других взаймы. Воздержанный, как верблюд, проворный, как олень, он отличался твердостью убеждений и строгостью. Когда знаменитый хирург понял те достоинства и недостатки, которые в их совокупности делают вдвое более драгоценным доктора Ораса Бьяншона для его друзей, тогда началась счастливая пора в жизни Ораса. Если главный врач клиники берет молодого человека под свое покровительство, карьера этого молодого человека может считаться обеспеченной. Деплен обычно брал с собой Бьяншона в качестве ассистента при своих врачебных визитах в богатые дома; некоторое вознаграждение обычно перепадало при этом и ассистенту, не считая того, что во время этих визитов ему, провинциальному, постепенно раскрывались тайны парижской жизни. Деплен прибегал к услугам Бьяншона в качестве ассистента и тогда, когда принимал больных у себя на дому, иногда он поручал ему сопровождать какого-нибудь богатого больного на минеральные воды — словом, он подготавливал Бьяншону клиентуру. В результате у хирурга-тирана появился через некоторое время Сеид. Эти два человека, из которых один, находившийся на вершине почестей и знания, пользовался огромным богатством и огромной славой, другой, не богатый и не знаменитый, мерцал незаметной звездочкой на парижском небосклоне, стали близки друг другу. Великий Деплен ничего не скрывал от своего ассистента. Бьяншону было известно, села ли такая-то женщина на стул рядом с его учителем или на тот пресловутый диван, который стоял в кабинете Деплена и на котором он спал; Бьяншон был посвящен в тайны этого темперамента, соединившего в себе пылкость льва и силу быка, темперамента, который постепенно раздвинул, расширил сверх меры грудь великого человека и послужил причиной его смерти (Деплен умер от расширения сердца). Ассистент изучил все странности этой безмерно занятой жизни, все расчеты сквердной скупости, все надежды политика, скрытого в этом человеке науки, и он предвидел то разочарование, которое принесет Деплену единственное чувство, доступное его сердцу: ибо все-таки это было сердце не из бронзы, а только снаружи похожее на бронзовое.

Однажды Бьяншон рассказал Деплену, что один бедный водонос, живший в квартале Сен-Жак, тяжко заболел от переутомления и нужды: всю долгую зиму 1821 года этот бедный овериц питался одной картошкой. Деплен бросил всех своих больных. Чуть не загнав свою лошадь, он примчался с Бьяншоном к бедняку, которого и перевезли под личным присмотром Деплена в больницу, открытую знаменитым Дюбуа в предместье Сен-Дени. Деплен вылечил овернца, а когда тот выздоровел, дал ему денег на покупку лошади и бочки. Этот овернец отличился впоследствии одним своеобразным поступком. Кто-то из его друзей заболел. Овернец тотчас же привел его к Деплену, говоря своему благодетелю:

— Я не потерпел бы, чтобы он пошел к кому-нибудь другому.

Как ни был груб Деплен, но тут он пожал овернцу руку и сказал ему:

— Приводи их всех ко мне.

Он поместил уроженца Канталя в клинику Отель-Дье и проявил в отношении его величайшую заботливость. Бьяншон уже неоднократно замечал пристрастие своего принципала к овернцам-водоносам; но так как для Деплена его работа в клинике Отель-Дье служила предметом своеобразной гордости, ассистент не усмотрел в его поведении ничего необычного.

Однажды, проходя часов в девять утра по площади св. Сульпиция, Бьяншон увидел своего учителя: Деплен входил в ту церковь, от которой получила свое имя и площадь. Деплен, всегда пользовавшийся кабриолетом, на этот раз, однако, пришел пешком и украдкой вошел в церковь через боковые двери с улицы Пти-Лион, будто входил в какой-то подозрительный дом. Ассистент, знавший убеждения своего учителя и к тому же сам кабанист, диавольски (именно в таком начертании, по-видимому, означающем у Рабле высшую степень дьявольщины) упорный, почувствовал понятное любопытство; стараясь остаться незамеченным, он проник в церковь и увидел картину, немало его удивившую: великий Деплен, этот атеист, так безжалостно издевавшийся над ангелами, которые недоступны ланцету, не знают ни фистулы, ни гастритов, — этот неустрашимый насмешник смиренно стоял на коленях... и где же? В часовне богоматери! Он отстоял там обедню, пожертвовал на церковь, на бедных — и все это с той же серьезностью, как при какой-нибудь операции.

«Уж верно, он зашел в церковь не затем, чтобы кое-что выяснить в вопросе о родах богоматери, — подумал изумленный Бьяншон. — Если бы я увидел его поддерживающим одну из кистей балдахина на празднике Тела господня, это было бы только смешно. Но застать его в церкви в этот час, одного, без свидетелей — это поистине наводит на размышления!»

Не желая, чтобы кто-нибудь мог подумать, будто он подсматривает за главным хирургом клиники Отель-Дье, Бьяншон удалился. Случайно Деплен в тот же день пригласил его отобедать с ним в ресторане. За десертом Бьяншон искусно навел разговор на обедню, назвав ее лицемерной комедией.

— Комедия, которая стоила христианскому миру больше крови, чем все войны Наполеона и все пиявки Бруссе, — сказал Деплен. — Обедня — папское изобретение, не старше шестого века; в основе его лежат слова:

«Сие есть тело мое». Какие потоки крови пришлось пролить, чтобы установить праздник Тела господня, которым папский престол хотел ознаменовать свою победу, в споре о реальном пресуществлении даров, над еретиками, которые триста лет вносили смуту в церковь. Папское нововведение привело к войнам с графом Тулусским и альбигойцами: вальденсы и альбигойцы не хотели признавать его.

Тут Деплен дал волю своему остроумию атеиста, и из уст его полился поток вольтерьянских острот; выражаясь точнее, это было скверное подражание «Цитатору».

«Что за чудеса? — думал Бьяншон. — Куда же девался мой утренний богомолец?»

Он ничего не сказал Деплену и усомнился в том, действительно ли видел его в церкви св. Сульпиция. Деплен не стал бы лгать Бьяншону: они слишком хорошо знали друг друга и уже не раз обменивались мыслями по другим, не менее важным вопросам, не раз обсуждали

различные системы, трактующие *de reruni natura*,<sup>1</sup> зондировали или рассекали их ножами и скальпелем неверия. Прошло три месяца. Бьяншон не возвращался более к этому эпизоду, хотя он и запечатлелся в его памяти. В том же году однажды один из врачей клиники Отель-Дье в присутствии Бьяншона взял Деплена за руку, как бы желая задать ему вопрос.

— Зачем вы заходили в церковь святого Сульпиция,уважаемый учитель? — спросил он.

— Я шел к больному священнику — у него гнойное воспаление коленной чашки, — ответил Деплен. — Герцогиня Ангулемская оказала мне честь, обратясь ко мне с просьбой, чтобы я взял на себя его лечение.

Атака была отбита. Врач удовлетворился полученным объяснением, но Бьяншона оно не убедило.

«Вот как! Он ходит в церковь осматривать больные колени! — сказал себе ассистент. — Он был у обедни».

Бьяншон решил выследить Деплена; он припомнил, в какой именно день и час входил Деплен в церковь св. Сульпиция, решил через год быть в это же время у церкви, чтобы проверить, явится ли он снова. Если бы Деплен действительно явился, такая периодичность посещений церкви могла бы послужить основанием для научного исследования данного случая, ибо прямого противоречия между мыслью и действием у такого человека существовать не могло. На следующий год, в тот же день и час, Бьяншон, который уже не был ассистентом Деплена, увидел, как кабриолет хирурга остановился на углу улицы Турнон и улицы Пти-Лион, как его друг вышел из кабриолета и, с иезуитской осторожностью пробираясь вдоль стен домов, направился к церкви, вошел в нее и снова отстоял обедню перед алтарем богоматери. Это был Деплен, собственной персоной! Главный хирург, в душе атеист, игрой случая — богомолец. Положение осложнялось. Упорство знаменитого ученого путало все карты. По уходе Деплена Бьяншон подошел к ризничему, прибиравшему церковную утварь, и спросил у него, был ли только что ушедший господин постоянным посетителем церкви.

— Вот уже двадцать лет, как я здесь служу, — ответил ризничий, — и все время господин Деплен приходит четыре раза в год к этой обедне; она и служится по его заказу.

«Обедня, заказанная Депленом! — подумал, уходя, Бьяншон. — Это, на свой лад, стоит тайны непорочного зачатия, а ведь одной этой тайны довольно, чтобы сделать любого врача неверующим».

Время шло. Хоть доктор Бьяншон и был другом Деплена, ему никак не удавалось найти удобный случай заговорить с ним об этой особенности его жизни. Обычно они встречались во врачебной или светской обстановке; но в ней невозможны те откровенные беседы наедине, когда друзья, грея ноги у камина и откинувшись головой на спинку кресла, поверяют друг другу свои тайны. Наконец через семь лет, после революции 1830 года, когда толпа громила архиепископскую резиденцию, когда под влиянием агитации республиканцев она уничтожала золоченые кресты, сверкавшие подобно молниям над необозримым океаном домов, когда улицей владели Неверие и Мятеж, — Бьяншон вновь подглядел, как Деплен входит в церковь св. Сульпиция. Он последовал за ним и стал с ним рядом. Друг его не выразил ни малейшего удивления, не подал ему никакого знака. Они вместе отстояли заказанную Депленом обедню.

— Не откроете ли вы мне причину вашего благочестивого маскарада, друг мой? — спросил Бьяншон у Деплена, когда они вышли из церкви. — Я трижды заставал вас здесь у обедни — вас! Вы должны раскрыть мне эту тайну, объяснить мне это явное противоречие между вашими убеждениями и вашим поведением. Вы не верите в бога — и ходите к обедне! Дорогой учитель, будьте любезны ответить.

— Я похож на многих благочестивцев, которые внешне кажутся глубоко религиозными

---

<sup>1</sup> О природе вещей (лат.).

людьми, а на самом деле столь же атеистичны, как вы и я.

И Деплен разразился потоком острот, издеваясь над некоторыми политическими деятелями, наиболее известный из которых представляет собой новейшее издание мольеровского Тартюфа.

— Я спрашиваю вас не об этом, — сказал Бьяншон. — Я хочу знать, зачем вы пришли сюда и зачем заказали эту обедню.

— Ладно, милый Друг, — сказал Деплен. — Я на краю могилы и могу рассказать вам теперь, как я начинал свою жизнь.

Бьяншон и великий человек находились в эту минуту на улице Четырех ветров — чуть ли не самой отвратительной парижской улице. Деплен указал Бьяншону на седьмой этаж одного из тех домов, похожих на обелиск, в которые попадаешь по длинному переходу, ведущему от калитки до винтовой лестницы; она обычно скруто освещается глухими оконцами, которые действительно глухи... к проклятьям спотыкающихся жильцов. Этот дом был зеленоватого цвета; в первом его этаже жил торговец мебелью; в остальных этажах, казалось, ютились все разновидности нужды. Подняв энергичным движением руку, Деплен сказал Бьяншону:

— Я прожил два года там, наверху.

— Знаю. Там жил и д'Артез. Я бывал там почти ежедневно в своей ранней молодости. Мы прозвали эту мансарду «банка, где настаиваются гении». Что же дальше?

— Прослушанная нами обедня связана с некоторыми событиями из моей жизни. Они относятся к тому времени, когда я проживал в той мансарде, в которой, по вашим словам, жил д'Артез, — вон там, где стоит горшок с цветами, а над ними развешано белье. Я начинал мою парижскую жизнь в таких трудных условиях, дорогой Бьяншон, что могу претендовать на пальму первенства в смысле тяжести тех страданий, которые заставил меня вынести Париж. Я испытал все: голод, жажду, отсутствие денег, отсутствие платья, обуви, белья — словом, самую жестокую нужду. В этой «банке для настойки гениев» я дышал на свои пальцы, окоченевшие от холода, и мне хотелось бы снова заглянуть туда вместе с вами. Выдалась одна такая зима, когда я работал и видел поднимающийся над моей головой пар, различал собственное дыхание, вроде того пара, который валит в морозные дни от лошадей. Не знаю, в чем находишь себе опору для борьбы с такой жизнью. Я был один, без чьей-либо поддержки, не имел ни одного су на покупку книг и на оплату моего медицинского образования. Друзей у меня не было из-за моего вспыльчивого, подозрительного, беспокойного характера. Никто не хотел понять, что моя раздражительность объясняется жизненными трудностями и непомерной работой: ведь я находился на самом дне социальной жизни, а хотел выбиться на ее поверхность. Тем не менее — могу вам это сказать, так как мне нечего было ждать ни от своих родных, ни от родного города сверх того скучного пособия, которое я получал. Достаточно вам сказать, что в ту пору я покупал себе на завтрак у булочника на улице Пти-Лион черствый хлебец (он был дешевле свежих) и размачивал его в молоке: таким образом, утренний завтрак обходился мне всего в два су. Обедал я через день в одном пансионе, где обед стоил шестнадцать су. Таким образом, я тратил всего десять су в день. Вы понимаете не хуже меня, много ли я мог уделять внимания платью и обуви. Не знаю, сравнимо ли огорчение, которое впоследствии случалось нам испытывать при виде предательских поступков того или другого коллеги, сравнимо ли это огорчение с тем горем, которое мы с вами испытывали, когда замечали лукавую усмешку разорвавшегося башмака или когда слышали треск сюртука, лопнувшего под мышкой. Я пил только воду и питал высокое уважение к парижским кафе. Кафе Цоппи казалось мне чем-то вроде земли обетованной, доступной лишь Лукуллам Латинского квартала. «Ужели когда-нибудь и я смогу выпить там чашку кофе со сливками и сыграть партию в домино?» — думал я. То неистовство, которое вызывала во мне нужда, я переносил на свою работу. Я

старался приобрести как можно больше твердых знаний, чтобы возможно больше повысить свою ценность и заслужить таким образом место, которое хотел завоевать. Я потреблял больше бутылок масла, чем ломтей хлеба: лампа, светившая мне в часы упорной ночной работы, обходилась дороже, чем пропитание. Это был поединок — долгий, ожесточенный, безотрадный. Ни в ком я не возбуждал сочувствия. Ведь чтобы иметь друзей, нужно поддерживать знакомство с молодыми людьми, нужно иметь несколько судов, на которые ты мог бы пображничать, нужно ходить с ними туда, куда ходят студенты. У меня же не было ничего! А никто в Париже не представляет себе, что значит ничего. Когда приходилось рассказывать другим, в какой нужде я живу, я чувствовал, что нервная судорога сжимает мне горло, что к нему подкатывается тот комок, о котором говорят нам наши больные. Мне случалось потом встречать людей, родившихся в богатой семье, никогда ни в чем не нуждавшихся, не знавших этой задачи на тройное правило; молодой человек так относится к преступлению, как пятифранковая монета относится к иксу. Эти богатые болваны говорили мне: «А зачем вы влезли в долги? А зачем обременяли себя тяжкими обязательствами?»

Они напоминают мне ту принцессу, которая, услышав, что народ умирает с голода, спросила, почему не покупает он сдобных булочек. Хотел бы я посмотреть на кого-нибудь из этих богачей, которые жалуются, что я беру с них слишком много за операцию, — хотел бы посмотреть на него, окажись он один-одинешенек в Париже, без единого гроша, без друзей, без кредита и располагая лишь головой да руками, чтобы заработать себе на хлеб! Что бы он делал? Куда бы пошел искать себе пропитание? Вам случалось видеть меня озлобленным и безжалостным, Бьяншон: я мстил за свои юношеские страдания той бесчувственности, тому эгоизму, которые на каждом шагу встречаются мне в высшем обществе; я вспоминал о том, сколько препяд на моем пути к славе пытались создать ненависть, зависть, клевета. В Париже, когда некоторые люди видят, что вы вот-вот готовы сесть в седло, иной начинает тащить вас за полу, а тот отстегивает подпругу, чтобы вы упали и разбили себе голову; третий сбивает подковы с ног вашей лошади, четвертый крадет у вас хлыст; самый честный — тот, кто приближается к вам с пистолетом в руке, чтобы выстрелить в вас в упор. У вас есть талант, мое дитя, и вы скоро узнаете, какую страшную, непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Проигрываете ли вы вечером двадцать пять луидоров — на следующий день вас обвинят в том, что вы игрок, и лучшие ваши друзья будут рассказывать, что вы проиграли двадцать пять тысяч франков. Заболит ли у вас голова, скажут, что вы начинаете сходить с ума. Вырвалось ли у вас какое-нибудь резкое слово — и вот уже вы человек, с которым никто не может ужиться. Если в борьбе с этой армией пигмеев проявите и силу и решительность, ваши лучшие друзья завопят, что вы не терпите никого рядом с собою, что вы хотите господствовать, повелевать. Словом, ваши достоинства обратятся в недостатки, в пороки, и ваши благодеяния станут преступлениями. Удалось ли вам спасти кого-нибудь — скажут, что вы его убили; хотя больной вернулся к нормальной жизни — скажут, что это искусственно вызванное вами временное улучшение, за которое ему придется расплатиться в будущем: если он не умер сейчас, он умрет потом. Споткнется — скажут: «Упал». Изобретете что-нибудь и попробуете отстоять свои права — прослынете человеком крайне несговорчивым да еще и расчетливым хитрецом, который не дает выдвинуться молодым силам. Таким образом, друг мой, если я не верю в бога, я еще менее верю в человека. Ведь вы знаете, что во мне живет Деплен, совершенно непохожий на того Деплена, о котором говорят столько дурного. Но не будем копаться в такой грязи. Итак, я жил в этом доме, работал, готовясь к первому экзамену, и сидел без гроша. Знаете, я дошел до той крайности, когда человек решает: «Пойду в солдаты!» У меня оставалась одна надежда: я должен был получить из того города, откуда был родом, чемодан с бельем — подарок старых провинциальных теток, которые, не имея понятия о парижской жизни, уверенные в том, что на тридцать франков в месяц их племянник питается рябчиками, заботятся о его рубашках. Чемодан прибыл в мое отсутствие — я был в университете; оказалось, что за провоз его следует уплатить сорок франков.

Привратник — немец-сапожник, ютившийся в каморке под лестницей, уплатил эти

сорок франков и оставил чемодан у себя. Долго бродил я по улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре и по улице Медицинского факультета, ломая себе голову над тем, как бы мне выручить мой чемодан, не уплатив предварительно сорока франков, — понятно, я уплатил бы их, продав белье. Моя несообразительность показала мне, что единственное мое призвание — хирургия. Друг мой, души с тонкой организацией, сильные, когда им приходится действовать в более высокой сфере, лишены той способности к житейским интригам, той находчивости, той оборотливости, которые свойственны более мелким людям; случай — вот добный гений этих душ; они не ищут — они находят.

Я вернулся домой поздно вечером; в это же время вернулся и мой сосед — водонос родом из Сен-Флура, по имени Буржа. Мы были знакомы с ним настолько, насколько могут считаться знакомыми два жильца, комнаты которых расположены рядом: каждый из них слышит, как его сосед спит, кашляет, одевается, — и в конце концов они привыкают друг к другу. Сосед сообщил, что хозяин дома выселяет меня за то, что я трижды просрочил платеж за комнату; завтра мне предстояло убраться вон. Оказалось, что хозяин выселяет еще и моего соседа, из-за его ремесла. Я провел самую мучительную ночь в своей жизни «Где достать носильщика, чтобы вынести мой скучный домашний скарб, мои книги? Из каких денег заплатить носильщику и привратнику? Куда идти?» Обливаясь слезами, я все снова и снова задавал себе эти неразрешимые вопросы, как безумцы твердят одни и те же пришедшие им в голову слова. Наконец я уснул. У нужды есть союзник: божественный сон, полный радужных сновидений. На следующее утро, когда я закусывал размоченным в молоке хлебцем, в комнату мою вошел Буржа — Господин студент, — сказал он мне с сильным овернским акцентом, — я бедный человек, подкидыши, вырос в Сен-Флурском приюте, не знал ни отца, ни матери при моих достатках жениться мне нельзя. У вас тоже не больно много родных, да и добром вы не богаты. Вот что я вам скажу: у меня стоит внизу ручная тележка, я взял ее напрокат по два су за час; все наши пожитки на ней уместятся. Хотите, поищем себе жилье вместе, коли уж нас отсюда выгнали. Да ведь и здесь не рай земной — Знаю, мой добный Буржа, — сказал я, — но вот в чем затруднение: у меня внизу чемодан, в котором лежит на сто эко белья; я мог бы уплатить из этих денег и за комнату и свой долг привратнику, но в кармане у меня нет и пяти франков — Ладно! У меня найдется несколько монеток, — ответил Буржа, весело показывая мне старый, засаленный кожаный кошелек. — Оставьте ваше белье себе. Буржа заплатил за мою комнату, за свою и отдал привратнику его сорок франков. Затем он взвалил нашу мебель и чемодан с моим бельем на тележку и покатил ее по улицам, останавливаясь у тех домов, где были вывешены объявления о сдаче комнат внаем. Я входил в каждый такой дом и осматривал сдаваемое помещение. Наступил полдень, а мы все еще скитались по Латинскому кварталу в тщетных поисках жилья. Цена — вот в чем было препятствие. Буржа предложил мне перекусить в винной лавочке; тележку мы оставили у двери К вечеру, на улице Роган, у Коммерческого проезда, я нашел на самом верху одного дома, под крышей, две комнаты, отделенные друг от друга площадкой лестницы. Мы сняли их; пришлось на брата по шестидесяти франков квартирной платы в год. Теперь у меня и у моего скромного друга было пристанище. Обедали мы вместе. Буржа зарабатывал до пятидесяти су в день. У него было около ста эко. Он рассчитывал вскоре осуществить свою заветную мечту: купить себе бочку и лошадь. С лукаво-проницательным добродушием, воспоминание о котором доныне трогает мое сердце, он вывел все мои секреты и, узнав, в каком положении я нахожусь, отказался на время от мечты всей своей жизни. Буржа двадцать два года носил воду — и он принес в жертву свои сто эко ради моего будущего.

Тут Деплен с силой сжал руку Бьяншона. — Он дал мне те деньги, которые мне были необходимы, чтобы подготовиться к экзаменам! Друг мой, этот человек понял, что у меня есть назначение в жизни, что нужды моего ума важнее его нужд. Он заботился обо мне, он называл меня «сынок», он давал мне взаймы деньги на покупку книг, а иногда он приходил тихонько посмотреть, как я работаю; наконец он с материнской заботливостью дал мне возможность заменить здоровой и обильной пищей ту скучную и недоброкачественную

пищу, на которую я был обречен. Буржа было лет сорок; у него было лицо средневекового горожанина, выпуклый лоб, — художник мог бы писать с него Ликурга. Бедняга не знал, на кого ему излить запас нежности, накопившейся в его сердце. Единственным существом в жизни, которое было к нему привязано, являлся его пудель, незадолго до того умерший, и Буржа беспрестанно говорил со мной о своем пуделе, спрашивал у меня, как я думаю, не согласится ли церковь служить по нему заупокойные обедни. Этот пудель, по его словам, был настоящий христианин: в течение двенадцати лет он ходил с Буржа в церковь, ни разу не залаял, слушал орган слишком-молчком и сидел рядом со своим хозяином с таким видом, будто и сам молился вместе с ним. Этот человек понял мое одиночество, мои страдания, — и он сосредоточил на мне всю силу привязанности, на которую был способен. Он стал для меня самой заботливой матерью, самым бережно-деликатным благодетелем; словом, это был идеал добродетели — человек, находящий удовлетворение в том добром деле, которое он творит. Когда я встречался с Буржа на улице, он бросал мне понимающий взгляд, исполненный непостижимого благородства; он старался идти с таким видом, будто идет без всякой ноши; казалось, он был счастлив тем, что видит меня здоровым и хорошо одетым. Это была самоотверженность простолюдина, любовь гризетки, перенесенная в более высокую сферу. Буржа выполнял мои поручения, будил меня ночью в назначенный час, чистил мою лампу, натирал площадку нашей лестницы; он был мне хорошим отцом и не менее хорошим слугой и мог поспорить чистоплотностью с английской горничной. Все наше хозяйство лежало на нем. Подобно Филопемену, он пилил дрова. Он умел делать все очень просто, но всегда с достоинством, сознавая, казалось, что его работа облагорожена той целью, которую он себе поставил. Когда я поступил в клинику Отель-Дье ассистентом-практикантом, мне пришлось расстаться с Буржа, так как я должен был жить при клинике. Он впал было в глубокое уныние, но потом утешился мыслью, что скопит мне денег на те расходы, которых потребует от меня работа над диссертацией, и просил меня навещать его в свободные дни. Буржа гордился мною, он любил меня ради меня и ради себя. Если бы вы разыскали мою диссертацию, вы увидели бы, что она посвящена ему. В последний год моей работы в больнице в качестве ассистента-практиканта я располагал уж достаточными средствами, чтобы уплатить свой долг достойному овернцу, купив ему лошадь с бочкой. Он страшно рассердился, узнав, что я истратил на него свои деньги, но все же пришел в восторг, ведь это было осуществлением его заветного желания. Он смеялся и выговаривал мне; смотрел на свою бочку, на свою лошадь и, утирая слезы, говорил: «Нехорошо! Ах, что за бочка! Не надо вам было этого делать... Ну и крепкая же лошадь — прямо овернская!»

Я не видел ничего более трогательного, чем эта сцена. Несмотря на мои протесты, Буржа пожелал непременно купить мне тот отделанный серебром футляр с набором хирургических инструментов, который вы видели у меня в кабинете, — нет вещи более драгоценной для меня. Он был опьянен моими первыми успехами, но у него никогда не вырвалось ни единого слова, ни единого жеста, говорившего: «Это я вывел его в люди». А ведь не будь его, нужда прикончила бы меня. Бедняга пожертвовал своей жизнью ради меня; оказалось, что он ел один хлеб, натирая его чесноком, — зато покупал мне кофе, необходимый для моихочных занятий. Он заболел. Вы сами понимаете, что я проводил ночи у его изголовья. В первый раз мне удалось его отстоять. Но через два года болезнь возобновилась, и, невзирая на самый тщательный уход, на все средства, какие только знает медицина, Буржа скончался. Ни за одним королем не ухаживали так, как ухаживали за ним. Да, Бьянсон, я делал неслыханные усилия, чтобы вырвать эту жизнь у смерти. Мне хотелось, чтоб он получил возможность взглянуть на дело рук своих; хотелось выполнить все его желания, хотелось выразить до конца то — уже не повторившееся в моей жизни — чувство благодарности, которое наполняло мое сердце, хотелось затушить тот огонь, который жжет меня доныне!

Буржа, мой второй отец, умер у меня на руках, — продолжал, помолчав, Деплен, заметно взволнованный, — он оставил завещание, по которому все его имущество переходило ко мне; это завещание написали ему в конторе по составлению бумаг, и

помечено оно было тем самым годом, когда мы поселились вместе на улице Роган. Этот человек был образцом простосердечной веры. Он любил богоматерь так же, как любил бы свою жену. Хотя он и был страстно верующим католиком, он ни разу не сказал мне ни слова о моем неверии. Когда болезнь его приняла опасный оборот, он просил меня ничего не пожалеть, чтобы обеспечить ему помощь церкви. Я заказал для него на каждый день обедню за здравие. Часто, по ночам, он говорил мне, что боится судьбы, ожидающей его за гробом: ему казалось, что жизнь его была недостаточно праведной. Бедняга! Он трудился с утра до ночи. Если есть рай, кто мог быть достойнее его, чем этот человек? Он принял последнее напутствие церкви, как святой (ведь он и был святым); его смерть была достойна его жизни. Только один человек шел за его гробом: это был я. Похоронив своего единственного благодетеля, я задумался над тем, как смогу я отплатить ему за все, что он сделал для меня. Семьи, друзей, жены, детей у него не было. Но он был верующим, у него были религиозные убеждения — имел ли я право оспаривать их? Он робко заговорил со мной однажды о заупокойных обеднях; он не хотел навязывать мне такого обязательства, думая, что это значило бы требовать платы за свою помощь. При первой возможности я внес в церковь св. Сульпиция нужную сумму и заказал четыре заупокойных обедни в год. Единственное, что я могу сделать для Буржа, — это удовлетворить его благочестивое пожелание. Поэтому четыре раза в год, весной, летом, осенью и зимой, я прихожу в положенный день в церковь и говорю с искренностью скептика: «Господи, если есть у тебя обитель, где пребывают после смерти люди праведные, — вспомни о добром Бурже, и если нужно ему вынести какие-либо мучения, переложи эти мучения на меня, чтобы он мог скорее достигнуть того, что называют раем». Вот, мой милый, все, что может разрешить себе человек моего образа мыслей. Бог, вероятно, славный малый — он не обидится, черт возьми! Клянусь, я отдал бы все свое состояние, чтобы вера Буржа вместилась в моем мозгу.

Бьяншон, лечивший Деплена во время его последней болезни, не решается теперь утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом. И разве не отрадно думать верующим, что, быть может, смиренный овернец открыл ему врата неба, как некогда он открыл ему врата того земного храма, на фронтоне которого начертаны слова: «Великим людям — благодарное отчество».

*Париж, январь 1836 г.*

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Рассказы»](#)